

лекта, который мы развиваем, а результаты верифицированы по ряду моделей. Это позволяет нам построить такую модель. По некоторым результатам существуют аналогичные иностранные исследования — в частности, результаты верифицировались по мировой базе данных World Values. В трудах Тойнби, Хантингтона мы увидели философские, отчасти трансцендентные слабину, после чего сделали шаг вперед и получили, на наш взгляд, очень результативный методологический научный инструмент.

Вывод: одинаковая по форме система управления должна быть отличной по содержанию для России. Эти отличия должны быть сориентированы на цивилизационную идентичность страны. Тогда государственное управление в России может стать более успешным.

Неприемлемость цивилизационных ограничений государственного управления

*А.И. Соловьев,
доктор политических наук*

Прежде всего, хочу обратить внимание коллег на то, что термин «модель» характеризует не формально-институциональную характеристику системы госрегулирования, а фактический режим применения государством власти и управления по отношению к социальным объектам, внешней среде. Таким образом, при описании этой грани госуправления неправомерно апеллировать только к нормам, законам, Конституции или, напротив, лишь к властно-попечительским центрам политического влияния. «Модель» отражает своеобразный, характерный для того или иного государства синтез власти и управления, политики и администрирования. Таким образом, и внутренняя структура у любой модели иная,

нежели та, что раскрывает институциональные взаимосвязи ветвей власти в любом государстве.

Эта конкретно-историческая форма госрегулирования позиционирует прежде всего центры принятия решений, которыми руководят некие политико-административные командные пулы. Так, в последнее десятилетие существования СССР это было Политбюро ЦК (его идеологически-силовой сегмент), а в нынешней России в качестве такого пула выступает Администрация Президента. И в рамках такой структуры всегда складывается какая-то коалиция политиков и администраторов, силовиков и хозяйственников, публичных и теневых лидеров. Это касается любой, даже самой демократической страны. К примеру, в Великобритании длительное время в правительстве (прежде всего в аппарате премьер-министра) функционировали множество политических советников, чьи фактические полномочия значительно превышали статусные возможности отдельных министров. И эти советники, пока парламент не упорядочил их деятельность, по сути давали директивные указания официальным лицам.

Одним словом, реальные структуры госуправления всегда включают различные ресурсные центры, которые не только отправляют реальную власть, но и обеспечивают контакты с населением, с другими игроками, в том числе международными, которые за счет своих ресурсов могут пытаться влиять (и часто действительно влияют) на принимаемые решения. И уже от позиций этих структур (т. е. от силы государства) зависит, способно ли они при принятии решений отстраниться от такого рода влияний или нет. И играют роль и национальные отличия. Так, европейские модели госуправления внутренне более рационально организованы и плотнее соответствуют логике развития экономической и социальной жизни. У нас же больше политико-неформальных компонентов в этих структурах. И их соответствие социально-экономическим процессам ниже.

Но я это все говорю к тому, что при оценке моделей госуправления нельзя их чрезмерно формализовывать. В противном случае, мы вообще утратим возможность описывать реальные процессы. Так что необходимо каждый раз пытаться специфицировать такие политико-административные структуры, официально-неформальные связи участников этих управленческих коалиций.

Однако нельзя и переоценивать и, тем более, выходить за рамки функциональных назначений командно-управленческих структур государства. В этой связи идея С.С. Сулакшина относительно выстраивания госуправленческих структур в соответствии с цивилизационной спецификой общества мне представляется весьма неадекватной попыткой интерпретации неинституциональной компоненты госуправления. Ведь у структур власти и управления существуют не только формальные, но и функциональные ограничения, которые опираются прежде всего на рациональный тип интерпретации специализированных задач. Это — барьер для чрезмерных интервенций обыденности в деятельность специализированных структур, логику поведения элитарных слоев.

Но даже если пофантазировать и признать возможность такого внедрения цивилизационных мотиваций в профессиональную деятельность госуправленцев, то ничего кроме агрессии патриархальности мы не получим. Ведь российская цивилизационность (в рациональной интерпретации, представляющей собой ни что иное, как проявление неких особых черт национально-культурного характера) — это прежде всего архетипы и стереотипы традиционного общества. Больше того, я не очень-то верю в результаты «облагораживающих» эту отсталость представлений, в частности, о врожденном «коллективизме» россиян. По крайней мере, мой опыт позволяет мне с большим доверием относиться к результатам неоднократно проводившихся в 60–90-е гг. прошлого века исследований, согласно которым мы по уровню доверительности людей друг к другу (т. е. по основаниям «коллективиз-

ма») в 5–7 раз уступаем европейцам (этим «холодным индивидуалистам» и лишенным душевности «прагматикам»).

С идеей влияния «российской цивилизации» я могу согласиться только в том смысле, что у нас многие европейские модели госуправления не работают потому, что у нас люди другие. Но этот факт заставляет меня сделать другой вывод: надо не подстраивать структуры власти под нашу отсталость, а через установление новых требований к деятельности чиновников подтягивать людей до этих передовых стандартов. Иначе искаженные этой цивилизационной спецификой мотивационные структуры будут ломать и коверкать самые оптимальные, рационально организованные структуры власти и управления. Более того, рассмотрение культурных противоречий социальных портретов европейцев и россиян в качестве препятствия для восприятия положительного опыта мне представляется не только теоретически неоправданной, но и социально опасной позицией.

Нельзя забывать, что цивилизация соотносится со всей социальной формой существования человека, а управление государством работает только на определенных социальных площадках — там, где действует чиновник, носитель бюрократии, специализированных функций. И эти профессиональные задачи неминуемо селективируют тот культурный материал, который воздействует на индивида. К сожалению, это не всегда происходит и, к примеру, наша отечественная «вороватость» зачастую ломает профессиональные барьеры сознания госчиновников и превращает коррупцию уже не в системную характеристику власти, а во вторую природу государственности. И что нам предлагается: еще и организацию власти подогнать под эту нашу человеческую ориентацию, узаконить откаты и взятки?

Прав Н.М. Казанцев, когда говорит о нарастающей экономизации социальных мотивов человека и чиновника, в частности. Поэтому применительно к развитию российской модели госуправления задачу надо ставить иначе: следует

создать условия для более органичного сочетания личных и общественных интересов бюрократии в рамках рационального отправления ими своих функций. А это уже предполагает воплощение стороннего (универсального, а не национально-цивилизационного) положительного опыта. Если вы посмотрите на все посткоммунистические страны, которые реформируют сегодня свои системы госуправления, то увидите одну и ту же болезнь, а именно — слабую рационализацию госаппарата. Это универсальная проблема и для Польши, и для Болгарии, и для России. Поэтому следует понимать, какой нормативный опыт мы должны взять, чтобы перестроить механизмы управления и создать собственную, более оптимальную модель госуправления. Никто не говорит, что нужно механически заимствовать нечто. Брать нужно все лучшее, но при этом смотреть, как оптимально адаптировать это все для собственных нужд. И идея национальной самобытности (но не исключительности!) тоже должна работать на этот тренд. Но не заставлять нас смотреть назад и мистифицировать себя несуществующими задачами.